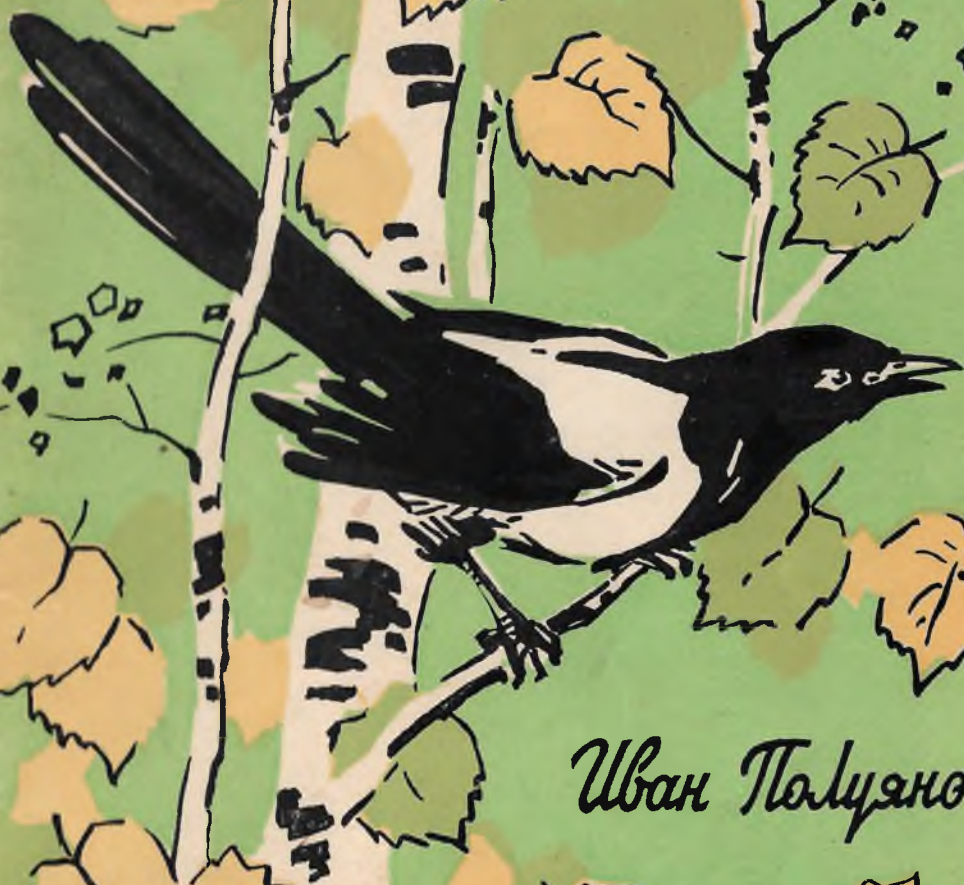


PA 1394 893



Иван Палужанов

ЛЕСНАЯ ПОЧТА

Художник Б. И. Шабеев.

Для младшего и среднего школьного возраста

Редактор *В. К. Пудожгорский.*

Технический редактор *С. И. Соколова.*

Художественный редактор *П. Ф. Макаров.*

Корректор *М. В. Чернакова.*

ГЕ04209. Подписано к печати 27. 10. 60 г.

Бумага $60 \times 84\frac{1}{16}$. 2,34 п. л., 2,27 уч.-изд. л.

Заказ 6299. Тираж 30000. Цена 70 коп. С. 1. I. 1961 г. — 7 коп.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3.



БЕЛКА — ЧЕРНОМОР



АВНО я для себя заметил: если ты не сторонний соглядатай, то каждый лесной поход превращается в радостное свидание, и всё сокровеннее открывается тебе Родина. Да, она — в перекличке пароходных гудков на реке, где стоит твой город, в зелёном разливе полей, в шуме окутанных бетонной пылью строек, в сполохах огней нового завода, где варят сталь. Но она, твоя Родина, — и в небе над головой, и в хвойном прибое лесов, и в студё-

ном родничке, из которого ты напился, и в берёзах, примеченных тобою на уединённой поляне. Потому что всё вокруг — твоё и моё, наше!..

Одна берёза молочно-белая, и сучья на ней белые — все, кроме самых тонких, собранных в каштановые пряди. Жмутся к её стволу две другие юные берёзки, как к маме. Смуглы они, берёзовы дочки, будто запекло их солнцем. Шелушится с них берёста — загорели, так уж загорели! Мама же не успела, — конечно, ей всё некогда было. А теперь не до того: осень. Падают листья, падают...

Смотреть, как осыпается листва, так же грустно, как видеть дым потухающего костра.

На тропах сквозь боры — алые, багряные ручейки. Ветер сорвал с осин и рябин подлеска нарядные листья, размыкал и смёл на тропы.

От дерева к дереву прыгает белка. Она тащит в зубах сивый пучок лишайника, какого много на старых елях. Зверёк спешит утеплить гнездо к зиме. Прядь лишайника, цепляясь за сучья, развевается — седая и пышная, точно холёная борода. Ах, и борода: сказочному Черномору на зависть!





ВАЛЕНКИ



МЕНЯ очень повеселили рябчики. Промозгло, слякотно, а они — распевают, хоть ты что!

Неприхотлива окраска оперения загорных лесных петушков. Рябчик словно отражает собой седину увешанных лишайниками елей, серые, с поникшей травой поляны в пестрине опавшей листвы, подмоченной дождями, таинственную глубь чащи.

Он взял от сумрака северного леса его спокойные краски, их чистоту, свежесть и оживил своей

мелодичной песенкой. Когда слушаешь рябчика, то кажется — тихо и проникновенно звучат сами мохнатые недра чащи, им рябчик отдал свой голос. И будто завеса приоткрывается перед тобой: дик и угрюм облик чащи, но и она родная тебе, и у неё своя жизнь, которую надо понять...

За одним рябеньким певуном я следил в бинокль. Продрог на ветру, ноги застыли в сапогах. Было собрался я уходить, как вдруг разглядел, что рябчик петь поёт, но сам потеплее «обулся»! Летом, небось, голоножкой бегал, а сейчас...

Всё в том, что у рябчиков, тетеревов, глухарей, особенно у белых куропаток, лапки к зиме покрываются пером и пухом. «Мохны» отрастают, как называют это северяне-охотники.

Качался мой рябчик на ветке, распевал, и «мохны» серели издали, словно пуховые вальпочки.

Поёживаясь, я передёрнул плечами от холода:

— Так-то что... Мне бы сейчас в валенки, я б тоже запел!





ЖЕЛТЫЕ

ПОДОШВЫ



БЫВАЕТ так осенью: засквозят берёзовые рощи, мороз закуёт ручьи и озёра в лёд. И неожиданно-негаданно устанавливаются погожие деньки, полные тихой задумчивости, рыжих пятен солнца на боровом мху, запаха палой листвы. Эти дни — как нечаянная радость. Не уходил бы из лесу в эту пору... И бродишь по заглохшим просекам, берегами знакомых речек, и не устаёшь восхищаться красотой родного края, где каждый кустик отвечает тебе и дорог, как хозяину. А от деревни то

нанесёт дымом — по овинам сушат зерно; то услышишь рокот машины с просёлка — возят сено к фермам, и кажется, что ощущаешь его аромат...

— Хорошо!

Я расположился на замшелой валёжке. Достал из рюкзака термос с чаем, думаю: позавтракаю. И слышу — осторожный шорох. Чьи-то шаги...

Нет, кто-то не идёт, кто-то скачет сюда. Я взял ружьё.

Из-за кустов выбежал заяц. И сел на задние лапы, забавно подрагивает раздвоенной губой, держа уши рожками. Белый-белый! Перелинял перед холодами, но снег выпал и весь стаял. Подвёл косога!

Близко до зайца. Глаза у него карие, с золотым от солнца донышком, хвост этаким махром скручен...

Стрелять по сидячему — нет, так не по мне. Крикнул:

— Ах, я тебя!

Заяц оторопело повернулся и задал стрекача. Он летел по просеке во всю прыть, и задние лапки обгоняли на бегу передние.

Жёлтые подошвы так и мелькали. Они попали на мушку.

Я опустил ружьё...

Жёлтые подошвы... Резв заяц, но сколько ни колесит по лесу, никогда не потеет сам. Пот выступает на подошвах заячьих лап, оттого они и жёлтые.

Поди-ка, от лисы удирал мой заяц-белячок — удрал; рысь гналась — не догнала; лунной ночью

ковылял через поляну и филин пытался ског-
тить — не дался, ноги выручили.

Не мог я поднять ружья на жёлтые подошвы.
И зачем только заяц мне их показал, — не будь
этого, был бы я с трофеем!



ЖАЛИМЬЯ



ПРОВЕРКА



ОЧЬЮ ударил заморозок, пал иней. Утро наступало при зелёном, прозрачном, как молодой лёд, небе, с румяной зарёй, и переход от ночи к дню был по-зимнему плавлен. Спозаранок завозились клесты, и роняемые ими с елей шишки гулко стучали по земле.

Поднялось солнце. На него можно было смотреть, не отводя взгляда.

Озеро засверкало. Мёрзлый осиновый лист без-

звучно скользил по заводи. Он укатился далеко-далеко... Если б не этот лист, показалось бы, что льда всё нет: так светло, до самого дна просвечивала водная толща. Поникие травы, водоросли, жгуты корневищ смутно рисовались в омуте, от них падали на песок серые, словно размытые, тени.

Тёмный, в бурых пятнах налиим всплыл из ому-та. Так он делает в ледостав, а летом лишь перед сильной грозой, да изредка лунными ночами. У налима были толстые оттопыренные губы, он лениво двигал хвостом и выглядел самодовольным и важным, будто невесть какое дело предстояло ему. Показывая сытый белый живот, налиим потёрся о лёд — в одном, в другом месте. Потом уплыл...

И хотя иней таял на пригреве, хотя небо не грозило снегом, я сказал себе:

— Ну вот, скоро зима. Налим покинул омут и ходит с проверкой, крепок ли лёд!





СНЕЖНЫЕ ФОНТАНЫ

... **В** сумерки лес заполняли густые тени, и шумело в нем беспокойно и томительно: «а-а-а»... Я оставлял бревенчатую хижину, поставленную любителями рыбалки у этого глухого таёжного озера, взбирался на крутой каменистый берег и подолгу сидел там, слушая лес и провожая стылые жёлтые зори. Потерянно мерцал внизу, в мохнатых недрах чащи, огонь свечи, оставленной на окне. И было вокруг безлюдье, чёрные леса...

И всё же я был не одинок. По утрам к становью бегала лисица. Её привлекали объедки у костра. Она таякала по-собачьи, и едва я успевал отворить дверь, пропадала в чаще. Быть может, её привадили к избушке рыболовы? Оставляли ей всякой там мелочи — ёршиков, плотиц, и лисица привыкла кормиться возле людей.

Я думал об этих людях. Они отремонтировали заброшенную хижину, проконопатили её стены, заново настлали пол и потолок, сложили из камней очаг. Они ушли, оставив после себя грудку журналов «Вокруг света», мачту с флагом, который теперь полинял от дождей, блесну с выцарапанной на ней надписью «Щучья мечта», карту озера, начерченную от руки. На карту были нанесены острова Зорегово Клёва, мыс Неустрашимых, а каменная гряда, что шла от озера в глубь леса, была названа Хребтом Дракона.

Нет для меня ничего более волнующего в лесу, как встретить следы человека. Пытливому глазу многое расскажут места покинутых привалов, кострищ. Найдёшь на знакомой тропе скамью для отдыха, переход через ручей, сделанный из срубленной осины, или трухлявую колодину, сброшенную с дороги, — и уже знаешь, кто прошёл до тебя, хозяин ли он в лесу или просто прохожий, случайный и вовсе не нужный здесь...

Так я жил у пустынного озера. Дни проводил на охоте, по вечерам отдыхал у костра, топил очаг.

Я ждал снега. И дождался его.

Однажды утром я вышел из хижины. Снег... Он слепил глаза. Он хрустел под сапогами тем сочным хрустом, с каким грызёшь яблоко. И пах-

нул свежо, бодряще. Празднично сиял преображённый ельник. Звонok был морозный, колкий воздух.

Снег!.. На каждой еловой ветке словно бы отдыhalo по белому горностаю.

Перекликались свиристели, и удивительно шли их переливчатые трельки к заснеженному лесу, к светлoму его покою.

С лёгким, едва различимым шорохом падали снежинки. Они будто шептались друг с другом, прежде чем лечь на землю, на деревья.

Берёзы, стройные, с поникшими ветвями, мне почему-то вдруг напомнили фонтаны. Но это были необыкновенные — белые, снежные фонтаны!

— Открывателей озера бы сюда! — подумалось мне.

В этот час они, наверное, в школе, за партами. И нет-нет, да и вспомнятся им дальнее озеро в лесной глухомани, где они вели себя подстать землепроходцам, зоровой клёв у песчаных островов, уха, поспевшая на костре, и лисица, бесстрашно навещающая походный бивак... Бегаёт ли она там теперь?

Они-то видели рыжую, ребят лисица ничуть не боялась — не то, что меня с ружьём!



П

АЕЖНЫЙ

ХИРУРГ



ТА ель — ветеран бора. Сколько ей лет, кто скажет!.. Мозолистыми корнями обняв землю, под облака вознесла она вершину и подставляет лихим бурям широкую зелёную грудь. Как панцирь, крепка кора дерева-великана, щетинятся толстые усохшие сучья.

Но время беспощадно.

Поредела хвоя, ствол подёрнуло мхом, сползла кора с нижних сучьев. Ель старше от подножия, замечали?

Да только ли от старости ослабло вековое дерево? Может быть, ель хворает, и завелись под корой вредные личинки, жуки-древоточцы?

Испытанные доктора прибыли пользоваться ветерана. Их целый консилиум: надо же обсудить, как подступиться к лечению!

Большой пёстрый дятел обследует ствол ели. Как он озабочен, какой у него серьёзный вид! Тюкнет дятел клювом, отколупнёт чешую коры — и голову на бок, слушает. И вновь простукивает немое в своей прикорности дерево, словно доктор молоточком. Разве очков не хватает, а так дятел — прямо профессор!

Двое малых дятлов барабанят по сухим сучь-



ям. И обоих раздувает от гордости, что работают рядом с прославленным доктором. Они вроде бы помощники, его ассистенты.

— Кик-кик! — отрывисто покрикивает он.

— Кик-кик! — тонко откликаются малые дятлы.

И знай долбят по сучьям, роняют на мох по-сорку.

Что-то не понравилось большому дятлу в работе помощников. Слетел он пониже, заворчал на них. С какой стати вы, голубчики, над сухими ветками стараетесь? Разве так лечат! Так не лечат, так калечат!.. И дал ближнему дятлику щипка. Другой не стал ждать расправы, убрался во-свояси.

Стайкой подлетели синицы. И их дятел прогнал. И уж оң работал, себя не щадил — щепки сыпались от старого дерева.

Вдруг из лесу донёсся бесцеремонный окрик:

— Пе-ень!

Дятел словно опешил, кончил долбить. Кто это — пень? Я — пень? Ну, знаете, это слишком...

— Пень! Пе-ень! — раздавались частые протяжные крики.

Обиженный дятел тишком, молчком нырнул в гущу бора.

Его место заняла жёлна. Она чёрная, с малиновой шапочкой на темени. Перед ней и большой дятел малыш. Однако знаменита жёлна не величиной. Жёлна, или чёрный дятел, — главный хирург хвойной тайги.

И взялась жёлна за тяжёлую операцию. У неё она удастся, жёлна повыковыривает вредных жуков и личинок, спасёт старую ель, будьте уверены!

Весной ранки, сделанные дятлами, затекут густой смолой, и всё будет в порядке. И никаких помощников жёлне не надо — сама справится...

Уходя от ели, я заметил, что на вершине её пушатся нежной хвоей молодые мутовки. Да, ель стареет снизу, с нижних сучьев, а с вершины она всегда молода... Ещё стоять вековой ели в бору, ещё долго жить ветерану леса!





Болтуны

В

АСЛЫШАЛ в чаще голоса соек — крикливых лесных бродяжек, — будь начеку, на всякий случай. Сойкам лес — вотчина. Летают они везде, всюду просунут чёрный нос. Секреты у соек не держатся: выболтают, задав трезвону на всю округу.

...Разъезжаются лыжи по укатанной санями колее. Обледенелые крепления скрипят. Иней оседает на ресницах.

Чу!..

Я отогнул уши шапки-ушанки, остановился.

— Рэрэ-рэ-э! — будят ельник хриплые выкрики.

В глубине леса, как отзвук эхо, — глуше, тревожнее:

— Рэ-э! Рэ-э!

Сойка сойке весть подает.

Я не медля свернул с дороги, побрёл лесом, увязая в сыпучем снегу. Весь залепленный снегом, вылез на поляну.

Эге, сойки не зря всполо-



пились. На поляне лежал в снегу тетерев, распластав коричневые, с белой перевязью крылья. Краснела кровь рассыпанной брусникой. Тяжело волоча лыжи, я подошёл и тронул птицу палкой.

Из-под тетерева выскользнуло белое длинное существо. Зверёк сморщил тупой носик и зашипел. Нырнул в снег, чтобы тотчас показаться уже в стороне — из сугроба.

Ласка... Петух-косач — её добыча. Зверюшка с веретено, тоненькая, с белым хвостиком, но злости, злости-то в ней! Шипит на меня, скалит зубки. Это она меня пугает!

Юркнул в снег белый зверёк. Так и ушёл под снегом. Я его не преследовал.

Но как эта сердитая малютка одолела косача? Как сейчас её вижу — гибкую, с чёрным носиком, с усишками в снегу... Тетерев куда больше её, гораздо сильнее!

Попробуй, разберись в диковинном происшествии, если на снегу ни следа звериных или птичьих лапок. По следам я бы прочитал, что тут случилось. Значит, одно остаётся — строить догадки...

Ласка невероятно проворна. Для мелкой живности, особенно мышей, страшнее ласки зверя нет. Ласка преследует мышей в норках, гоняет под снегом, — нет от неё спасения грызунам! Тем и полезна, что истребляет мышей по гумнам, в скирдах хлеба, на полях.

Очевидно, под снегом вела нынче утром ласка свою охоту. И наткнулась на стаю тетеревов, заночевавших в снегу среди поля. У ласки нет обычая отступать, не занимать ей смелости. Зверёк мёртвой хваткой впился в шею ближнего косача.

Взметнув клубы снега, взлетел тетерев. Он по-

нёсся куда глаза глядят, обезумев от страха и боли. И на нём — ласка. Прилипла, не отдерёшь! Рвёт птицу, урчит...

Тетерев, будто подбитый, рухнул вниз...

— Рэ-э! Рэ-э! — горланят сойки. Мечутся по заиндевелым веткам, осыпая снег. Пережидают, когда я уйду, чтобы потом без помех расклевать косача.

Их целое скопище — крикливых, нахальных...

— Ну, это не про вас! — замахнулся я на них. Подобрал косача и пошёл своей дорогой.

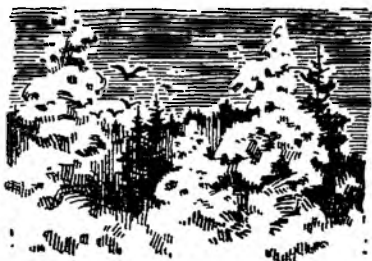
Иду и слушаю: не загалдят ли где сойки?

Ага, вон кричат — слева от дороги.

Я бросился к ним. Вспотел, лазая на лыжах по сугробам. Прибежал. Уф-ф!.. Из-под шапки пот течёт. Запарился, так спешил.

А сойки дрались... из-за сморщенного опёнка! Крик, галдёж подняли, будто глухаря не смогут поделить.

Болтуньи и есть болтуньи! Ну для чего мне этот опёнок, а?





НАША ЕЛЬ



ОЧЕМУ не готов к уроку?

— В дежанке был...

Ручка учительницы занесена над классным журналом. Сейчас она поставит двойку. Но ручка замирает и опускается пером на край чернильницы-непроливайки. Учительница дует в озябшие пальцы — холодно, мы все в пальто.

— Домашние задания всё равно надо выполнять. Завтра спрошу и за сегодняшний и за пре-

дыдущий уроки...— Учительница переводит взгляд на окно в морозных разводах, за которым метёт январская пурга.— И под Сталинградом, наверное, тоже пурга и стужа. Как-то там наши?.. Продолжим опрос, ребята. Кто ещё был в лесу?

Трудное и грозное было тогда время. Уроки зимними вечерами приходилось учить при лучине: и керосиновые коптилки стали немыслимой роскошью. Горючее было нужно фронту. И хлеб, и тёплая одежда...

И лес был нужен для победы.

По воскресеньям все от мала до велика в нашей вологодской глуши отправлялись на лесозаготовки. Благо деланки близко. Рукой подать — за какие-нибудь два-три километра от деревни. Шли семьями: матери с целыми выводками детишек, бабки и деды, ребята-школьники. Шли с топорами и пилами-дровянками. Шли в метель и мороз, и снег визжал, скрипел под латаными валенками.

Каждому находилось дело: кто валил лес с корня, кто раскряжёвывал его, обрубал и жёг на кострах сучья. Честное слово, мы, ребятишки, не хуже десятника — молоденькой девушки в ватных брюках и фуфайке — знали, на что годен наш лес. Знали, какая древесина идёт на ружейную болванку, чтобы из весёлой кудрявой берёзы получились ложа для грозных автоматов и винтовок; какая сосна нужна для самолётов — пусть они до Берлина долетят! — какая пойдёт на судострой, шпальник. И всё подсказывали десятнику, а она сердилась:

— Без вас обойдусь!

Мы не получали ни копейки, потому что зара-



ботанные деньги передавали в фонд обороны. Они шли на танки, самолёты, боевые корабли. Зато на самых лучших брёвнах, украдкой от авторитетного десятника, появлялись надписи: «Бейте фашистов!» И ещё мы получали, как настоящие рабочие, пайки хлеба. Хлеба без примеси куглины — горькой коры головок льна, без мякины даже... Хлеб был вкусен, его можно было есть с рассыпчатой картошкой, испечённой в золе костра, с луком, с брюквой, паренной дома в чугуне, накрытом паклей. А что за чудо — ломток хлеба с солью, поджаренный на огне!.. Никогда потом я не ел хлеба, ароматнее и сытнее, чем тот, который был заработан в лесу.

А с елью так вышло.

Мы спилили её пилой-двуручкой. Право, ель была хороша — стройная, прямая, как свеча. И сучья были у неё высоко-высоко от корня, что для качества древесины очень важно.

— Пиловочник! — кивнул на ель Виталька.

— Ври больше! Это — судострой. Гляди, деревина какая — ни сучка, ни задоринки, — заявил Вальчик.

— Вовсе не судострой, не спорьте, — сказала Маня. — Шпальник, вот что.

Хвойные мёрзлые сучья, потревоженные ударом о землю, глухо роптали. Хвойные сучья... Они — как уши для ели. Они слышат малейшее дуновение ветра, и ель успокаивающе или тревожно загудит. Ель первая подаёт сигнал тревоги, когда накатывается буря: качнёт вершиной, колыхнёт щетинистыми лапами — и на шум откликнется лиственная молодь, печально и тягостно застонет бор, будто угадывая, какой урон причинит

лихая непогода. Ель вечно на страже, ей вняты шорохи лесные. Слушает, слушает ель и что-то сама говорит... Стоит прижаться к её шершавому, залитому каплями смолы могучему и статному стволу, и услышишь её тягучую речь...

К нам подошла девушка-десятник. Рукавом фуфайки она отёрла снег со среза, простучала ель молотком, вслушиваясь в звуки. Зачем-то пересчитала годовые кольца на пне.

— Типичная резонансная ель, — вынесла она приговор, ставя на срезе молотком особую метку.

— Что-о? — протянули мы хором.

Мы были согласны на что угодно, только не на это. Резонансное дерево идёт... Нет, не для автоматов и винтовок, не строителям, чтобы мостить железные дороги, по которым повезут на фронт пушки и снаряды, не на шахты, верфи, авиационные заводы. Нет! На музыку идёт! И это нам было известно. Ведь скрипки, виолончели, кларнеты, рояли делают из дерева. А самое главное в музыкальных инструментах — резонанс, чистый и громкий звук. Подача звука зависит от деки, установленной за струнами. Так нам объяснила девушка.

— Дека... — сплюнул Виталька.

— Струны... — подхватил Вальчик.

— Подача! — фыркнула Маня. — Балалайка какая-то...

Нечего говорить, нам было обидно, что наша ель-красавица не попадёт на войну. И это было написано на наших лицах.

— Эх, глупые вы, глупые, — сказала десятница. — Не век же война... Всё равно будет наша победа! Жизнь тогда пойдёт с музыкой. Глупые, вы ребяташки!

...Сколько лет прошло с тех пор! И когда я сижу в концертном зале, слушаю музыку по радио, отчётливо встаёт передо мной и зимний лес, и дымные костры елового лапника, и вижу я ребят, сгрудившихся у мохнатой ели, поваленной в сугробы. И вижу я узкую лесную дорогу, по которой брёвна вывозились к реке Городищне. Натужно ступает седой от изморози Карько, тащит воз; рядом шагает наш коновод отчаянный Виталька, в ватнике, в растерзанной, выдавшей вида шапке. А на срезе бревна чернильным карандашом написано: «Бейте фашистов!» С этой надписью, как мы считали, нашу ель, наперекор десятнику, употребят для боевых фронтовых надобностей.

А если скрипки, рояль звучат с подмывающей силой, если особенно волнует и трогает меня музыка, я думаю:

— Наша ель поёт!





ПО СЛЕДУ



НЕГ в накрапе следов птиц и зверья. Синеют таинственные письма и ждут, кто их разгадает. И часто, идя по следу зверя, удаётся прочитать неповторимую повесть...

...Росомаха оставила убежище под буреломом, отряхнулась и, позёывая, лязгнула зубами. Тишина, ночь. Тишина шла от колючих звёзд и льдистого неба, от заиндевелых деревьев, растилавших уродливые тени. И в самом звере — низкорослом, косматом и чёрном, с белёсой поло-

сой по бокам — было что-то от ожившей ночной тени. И как тень, бесшумно, двинулся он в ночную вылазку.

Бег зверя остановила накатанная лыжня. Ноздри защекотало дымом.

Обойдя росчисть, где тонула среди снегов бревенчатая избушка, росомаха задержалась перед лабазом — амбарцем на столбах. Сюда охотники-промысловики, жившие в избушке, складывали добытую пушнину и запасы продовольствия. Росомаха взобралась на ель и с её сучьев прыгнула на лабаз. Ловко раскопала снег. Под крючьями когтей загремела мёрзлая еловая кора крыши.

Лай собак застиг воровку врасплох.

Собаки рвались с привязи. Распахнулась дверь избы, выскочил человек: «А-а, повадилась пакостница!» Грохнул выстрел, по сучьям забарабанила картечь, срезая хвою.

Но чаща уже укрыла зверя...

Без устали росомаха колесила по лесу. Как всегда, она забрела к медвежьей берлоге. Полежала, положив морду на лапы и вслушиваясь в дыхание спящего зверя. Что привлекало росомаху к берлоге, непонятно, как и многое остаётся неясным в повадках этой лесной скиталицы...

В сосновом бору обычно пережидали ночь глухари. Неудача!.. По следам росомаха разобрала, что до неё здесь охотилась рысь и распугала птиц.

Росомаха потянула обратным следом и — остановилась. Мягко ступая, покатила к окраине бора.

По осиновому перелеску шли лоси: старый рогач, молодой — с вильчатыми рогами, лосиха и рыжеватый лопоухий телёнок.

Горбясь, припадая к снегу, росомаха покралась

наперерез стаду. Она рассчитала, что лоси не минуют русла ручья, и залегла в засаду.

Ближе, ближе шорох грузных шагов. Хищнице била дрожь. Вот её обдало тёплым запахом лосей. Росомаха напряглась... И, пропустив переднего рогача, обрушилась на лосёнка. С косматой ношей на хребте лосёнок вырвался вперёд. Ветви кустов хлестали по росомахе, не перестававшей рвать клыками загривок лосёнка.

От холодов ручей промёрз до дна. Вода, выступив на снег, застыла гладкой корой. Копыта чиркнули по гололеди, лосёнок не удержался на ногах и со всего маху кубарем полетел через голову, придавил росомаху. По скользкому льду он проехал на боку и оставил оглушённую ударом росомаху позади. Лосёнок поднялся. Его шатало. Кровь из раны пятнала снег.

Росомаха тоже вскочила, но подоспевший старый лось, храпя и выкатывая глаза, ударом копыта намертво пригвоздил её к месту.

И всё стадо понеслось прочь от ручья. Лосёнок отставал, и тогда лосиха мычаньем звала его за собой.

Светлело. На ветру пылили сугробы...



РЯДОМ

С НАМИ



УРЛИТ вода подо льдом, клоочет, и её бунтующему ропоту чутко внимает чаща. С какой-нибудь ели упадёт пухлая снежная навесь — лес будто вздохнёт, очнувшись от цепяющей истомы, которую навевают воркотня речных струй, и опять погружается в дрему...

Реку Обокшу пересекает магистраль Москва—Архангельск. Рядом свист и шипенье пара, гром колёс проносящихся мимо железнодорожных составов, а здесь — лиловые тени у подножий берёз,



блики солнца на сугробах, бахрома инея. Высоко стелются дымы паровозов, как оранжевые облака.

Русло реки — тоже магистраль. Но особая, лесная, — её проложили зайцы. Тропа утоптана. От неё ответвляются мышиные стёжки, наброды тетеревов. Все окрестные обитатели, как видно, используют тропу для своих надобностей, отчего бы и мне её не пройти?..

Заячья тропа привела к озеру, в заросли осинника. С десятков деревьев повалено в сугробы. И недавно: жёлтая щепка у пней не успела заиндеветь. Кора веток об-

глодана, снег плотно умят лапами кормившихся тут зайцев. Вокруг — ни следа человека... Уж не сами ли косые занимались рубкой осин?

А вот другие следы. Очень необычные: прошёл неведь какой зверь, собственный след заравнивая лопатой. Ходил и таскал лопату за собой.

Лопата — тогда понятно. В осиннике потрудились бобры. Это они, выйдя ночью из нор в берегу, валили осины. Хвост бобра плоский — лопатой, и покрыт чешуёй. Острее стамески их крепкие зубы-резцы. За пять минут бобр такую осину свалит, что топором её не быстрее осилишь!..

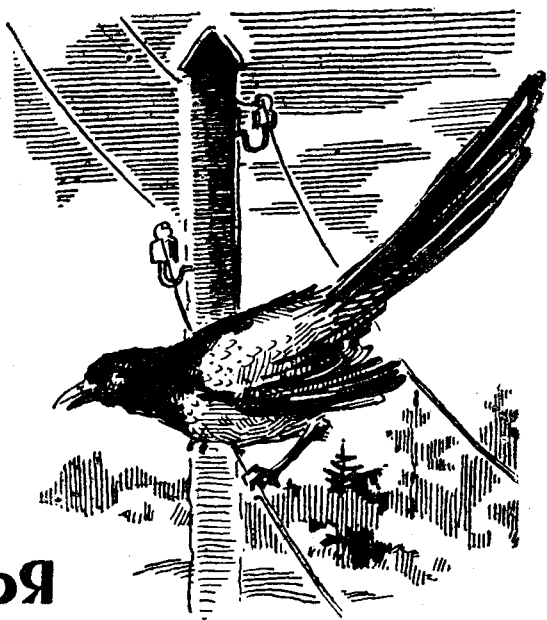
Поднявшись по реке, я увидел бобровую запруду. Плотина была высокая и длинной метров пятьдесят, сложена из ветвей, брёвен и кусков дёрна, обмазана тиной. Тина смёрзлась, стала прочной, как бетон. Запруда перегораживала Обокшу, и река разлилась, образовав новое озеро. Создали это озеро бобры. Их не пугало соседство железной дороги и станционного посёлка.

Громыхали рядом, с лязгом и рёвом мчались тяжёлые составы, и гудки паровозов подолгу не затихали, блуждая в заснеженном лесу...



Сорочья

ПОЧТА



ВА дня подряд ревел ветер, насыпая на улицах лесного посёлка высокие сумёты, и стояла зыбкая белая стена от земли до неба. Наконец ветер стих, но стена осталась — валил и валил снег, крупный, хлопьями. Снег падал отвесно, как бы нехотя.

Утром, после снегопада, из леса прилетели сороки. Ну и трещотки-балаболки! Трещали без умолку и трясли длинными хвостами. Одна сорока села на провод, обронила с него густо налипший

снег. И появился между столбами телефона и электропередач странный чертёж: точка — где снег упал комком, тире — где снег упал с провода прутиком, долькой.

Телеграмма!..

Я прочитал её по-своему. И заспешил. Выпросил у знакомого шофёра камусные лыжи. На обычных — увязнешь после пурги в первом же сугробе! Камусные лыжи — широки, неуклюжи. Подбиты камусом, шкурой с ног северного оленя. Они удобны для леса: дают хорошее скольжение в любую погоду, к ним не нужны палки, от которых забьнут руки. И без палок заберёшься на гору, потому что камусные лыжи в снегу «не буксуют».

Встал я на лыжи, подтянул на куртке ремень и покатил.

А лес — рядом.

— Ну-ка, где тут новости?

Новостей же — никаких. Снега прибавилось, так это разве новость!

Неужели телеграмма попала ко мне не по адресу?

Я шёл просекой и любовался снежной нависью — «кухтой». На соснах — пышные шапки, в белых пуховых чехлах ветви берёз и осин. Наблюлось в развилки сучьев снега: белеет, как будто гнёздышки из ваты. У елей-подростков из сугробов торчат лишь верхние мутовки. Словно зелёные пальчики! Подняты они кверху, предупреждают: езжай мимо, не обломай нас...

Я спустился к реке.

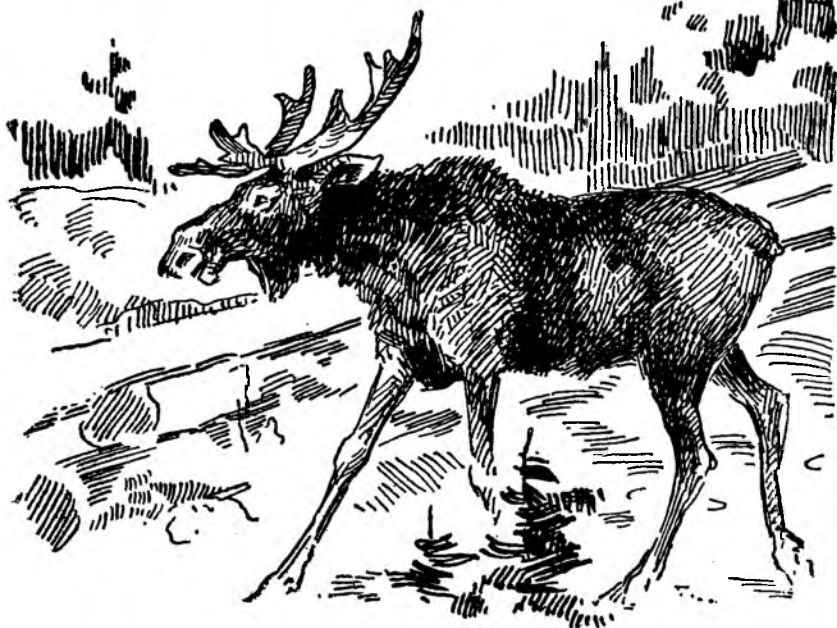
На берегу были штабеля леса — склад древесины летней заготовки. Штабеля занесены снегом.

Люди придут сюда только весной, чтобы сбросить брёвна в воду, и начнётся сплав леса.

У штабелей набродил лось. Я бы не обратил внимания на его следы — не впервые вижу! — но, обойдя штабеля, я не обнаружил следа, который бы вел сюда. Выходной след — от штабелей — есть. Свежий! Входного — нет.

Не на крыльях же прилетал сюда лось!..

Местами снег скрыт с брёвен. Лось скоблил кору. В двух штабелях скатаны одни осины. Кора



осин — еда лося. Между штабелями — лёжки, снеговые постели лося.

Хорошо тут, затишек. Пласты снежных надувов кровлей свисают с брёвен. Бахрома инея, сосульки... Светлые, прозрачные, будто выточенные из алмазов. Красота! Как снежный дворец.

И это на самом деле — дворец!

Почуяв пургу и снегопады, лоси заранее уходят в потаённые уголки леса, выбирая места, где много осинника и ивовых зарослей. Такие стойбища носят название лосиных «дворов» или «дворцов».

Этот лось не нашёл ничего другого, как обосноваться в лесном складе. Чем бродить в поисках осинки по глубокому снегу, ему выгоднее было драть кору с уже заготовленных кряжей и закусывать прибрежным ивняком. И он провёл дни пурги безбедно. Хитёр лось-рогач!

Камусные лыжи — охотничьи. Скользишь на них — будто по комнате идёшь в меховых туфлях. И всё-таки я не уберёгся. Чуть слышный шорох уловил чуткий лось и убрался от штабелей до моего прихода. А старые его следы давно завьюжило...

... Нет, не обманула меня сорока. Есть в лесу новости после пурги и снегопада!



М

МЕДВЕЖЬЯ

МЕРКА



ОЛНЦЕ погнало снег. Сырой ветер будоражил... Ворона и то подпевала ручьям, сидя у гнезда и издавая смешные булькающие звуки.

Захрустело, засопело под выворотнем — громадным пнём на голом бугре среди чащобы. Из навала сучьев высунулся мокрый нос. Упоительно пахло тающим снегом и почками!.. Благодушно урча, медведь вылез наружу. Его глазки подслеповато помаргивали. Он сел и, побряхтывая, поскрёб лапами у себя под мышками.

Потом закосолапил к ёлкам. Выдирая клочья свалявшейся бурой шерсти, почесался о стволы одним боком, другим. Покатался на снегу, отряхнулся и начал приводить в порядок шубу.

Медведь старательно вылизывал шершавым языком грудь, живот, бока. С осени не умывался — накопил грязи. В нос попала шерстинка. Медведь раскатисто чихнул: «Пчхи-и!» И вздрогнул, торчком уставив круглые уши. Уж очень громко чихнулось, не было б беды... Ждать, что кто-нибудь скажет: «Будь здоров!» — не приходилось.

Скосив морду, он обозрел ближнюю берёзу. Подковылял к ней, обжигая снегом голые пятки. Медведь взметнулся на дыбы, во весь рост, и вонзил в кору когти. С силой провёл раз за разом. Треск! Ошмётками полетела берёста. Медведь, обняв берёзку, легко подтянулся и тем же манером поточил когти задних лап. И зашагал вразвалку, спустился с бугра...

На берёзе осталась метка: пусть всем будет известно, что за матёрый медведище держится в окрестности. Сперва с ним ростом померяйся, после берись меряться силой! И следы под берёзой ничего себе: шапкой не накроешь...





ШТУКАТУР



ВЛЕСКЕ за гумнами колхозники брали глину для своих хозяйственных нужд. Глина, видимо, была качественная, копали её помногу, и получилась большая яма, которую теперь залило внешней водой, как пруд. По вечерам отсюда доносилось кваканье лягушек.

На вязком берегу ямы я заинтересовался птичьими следками. Кто тут бегал? Что искал?..

Ждать пришлось недолго. Из кустов, повитых дымкой свежей зелени, выпорхнула птичка — го-

лубая, с белой грудкой и куцым хвостом. Через глаза — чёрная полоска, будто насупленная бровь. И острый клювик задран этак занозисто. «Тюй-тюй-тюй», — высвистывала она. Села на иву. Вниз головой!

А, это поползень... Голубая светлогрудка поводи́ла острым шильцем-клювиком, приглядывалась: всё ли спокойно? И, шурша, спускалась вниз. Да, вниз головой. Никто из наших птиц не умеет бегать по стволам деревьев вниз головой, кроме поползня, этой юркой пролазы. Поползень немного попрыгал по берегу — клюв у него забавно разинулся, как крохотные ножницы.

Порх! — улизнула проныра в лес, только её и видел.

Скоро поползень вернулся обратно. Опять что-то склюнул на глине. И опять — порх!

Я сделал несколько шагов в направлении, куда улетел поползень. Думаю: от меня ты-таки не скроешься...

Так, мало-помалу, поползень сам привёл меня к старой осине. С неё пластами сползала опревшая кора, не качались на сучьях лиловые серёжки. Осина отжила свой век... Зияло дупло. У дупла и хлопотал поползень. У трещины, пересекавшей дупло.

Чем же он занят? Ползает по коре, бойко орудуя клювиком... Э, да он щель штукатурит — вон сколько глины наносил!

По правде, я глазам не верил. Впервые встретил такого штукатура, было чему удивляться. И белая грудка у него — точь-в-точь фартук. На боках — рыжинка. Словно глиной поползень-штукатур запачкался.

Спустя неделю — для проверки — я навел на знакомую осину.

Я не ошибался: поползень — штукатур. И какой! Мало того, что он щель глиной замазал, он и вход в дупло «обработал» как следует. Было широкое отверстие, стало ровнее, уже, словно очерченное циркулем. Глина высохла, затвердела. И было заметно, что поползень употреблял в дело также мелкие камушки.

— Ну-ка, покажись, штукатур-каменщик! — Я постучал по осине веткой.

Высунулась из дупла остроносая головка, пискнула: «цить! цить!»

Ишь, заважничал поползень, цикает! Знаться ни с кем не желает, раз такой недоступной квартирой обзавёлся.

И то сказать: сам её строил... Поработаешь, так и поживёшь!

Ай да поползень, ну и штукатур!





В ОДОПОИ

Т

ОМНЮ, весной разливался ручей: ни пройти, ни проехать! Шофёры кляли распутицу, водили грузовики в объезд. Когда схлынули внешние воды, по обмелевшим берегам ручья густо разрослась калужница. И вдаль по сырому логу, обозначая русло ручья, зазолотился поток жёлтых цветов... Летом буйно поднялись травы и будто затопили ручей.

Было пыльно, жарко. Над землёй, истомлён-

ной зноем, нависало зыбкое марево. Без устали чертили небо вёрткие стрижи.

И в одно утро побелел ручей возле дороги. Как снег выпал! Выпал и лежит островками на сером песке...

Это был вылет бабочек-белянок. Их сотни, их тысячи! Плотно сидят бабочки, впились хоботками в сырой песок. Белянки — вредные, их гусеницы точат капустные листья, снижают урожай репы, брюквы, и огородники отдают много сил, чтобы избавиться от разорителей. И не житьё белянкам там, где хорошие хозяева. Вот почему их так много вдали от деревень...

А всё же как пересох ручей: в пору лишь бабочкам напиться!

Проехала по тракту автомашина, скопище бабочек обдало пылью. Слетели они — закружилась над лугом белая метель.





БЕЗ ПАРАШЮТА



А сосне — бельчата. Очень неказисты — ползают по стволу, цепляясь коготками за шероховатую кору, и так жалко свисают их длинные, чуть опушённые красной шерстью хвосты.

Белка следит за выводком, кормит малышей. То с криком: «Цок! Цок! Цок!» — взвьётся на вершину сосны, свистнет оттуда. То, руля пышным расчёсанным хвостом, носится по веткам. Тут сорвёт сочный смолистый побег, там поймает

за усы жука. И не съест сама, отдаст бельчатам. Мама!..

Спрыгнула белка на землю — мягко, плавно. И хвост у неё уже не руль, уже как парашют! Набила белка за щёки спелой земляники, оделила малышей.

Понравились им сладкие ягоды. И один бельчонок — скок с сосны. Ушибся о землю, захныкал.

Куда уж ему с такой высоты прыгать: еще «парашюта» не отрастил!





П

ЯТЁРКИ в моём рыбацьем дневнике. Не то, чтобы я удил всегда отлично, — раз на раз, конечно, не приходится. Просто, иметь в дневнике пятёрки гораздо приятнее.

Показать вам мой дневник — вот вы удивитесь! Слов нет, он изрядно потрёпан. Под дождь попадал, в воде мокнул и у костра вместе со мной сушился. Раскроешь дневник, на страницах его — записи, карты озёр, самых уловных мест на речных плёсах.

И рыбы чешуя...

И вот рыбы чешуйки, аккуратно наклеенные на бумагу, и есть мои отличные отметки по рыбацкой науке.

Что, удивлены? Погодите, то ли ещё дальше будет.

Для меня эти чешуйки — рыбы паспорта. Да, мой дневничок вроде паспортного стола!.. Стоит ли объяснять, что у крупной рыбы чешуя размером крупнее, грубая, толстая. В моём «паспортном столе» собраны отменные чешуйки. Догадываюсь, к чему я клоню?

Когда рыбе привольно живётся, она быстро идёт в рост, и это время, само собой, приходится на лето и раннюю осень. В предзимье рыба сбивается косяками по омутам, ямам — сонная, вялая от холода. Правда, щуки, окуни и зимой неплохо себя чувствуют, но всё же не так, как летом. Пожалуй, одним налимам холода по нраву. Плавают налим в омутах, набивают живот уклеёй, пескарями — жирок нагуливает. Гоняться за рыбой увальню-лежебоке не надо — разинь пасть пошире и глотай, только и всего. И нерест у налима зимой. Всё у него шиворот-навыворот!

Язи, плотва, леци зимой плохо растут. Это отмечает их чешуя. На каждой чешуйке появляется тёмное колечко. Оно узкое и соседствует с широким, светлым, отметившим рост рыбы летом.

Теперь понятно, отчего чешую большинства рыб можно назвать их паспортами? Правильно, возьми лупу, сосчитай тёмные кольца — узнаешь, каков возраст рыбы.

Прописка вам нужна? Пожалуйста. Легче лёгкого по чешуе установить, где рыба имела «про-



писку». В озёрах вода, как правило, темнее речной. И чешуя рыб темнее.

Вот — чешуйка язя... Верно, язь из озера и было ему восемь лет. Около двух килограммов вытянул! Так разве не отличная в тот день была у меня рыбалка?

Вот — чешуйка плотвы. На килограмм плотичку выудил! И опять мне пятёрка в дневничок. А то как же: такая крупная плотва — редкость.

Много их, чешуек, — голубовато-серебристых, светлых с золотым отливом, зелёных, бурых, округлых и зубчатых... Посмотрю на них, так и повеет в лицо ветром водных просторов, напоённых студёным запахом росных лугов; так и услышу шорох камыша, плеск рыбы на заре.

А, вы заметили эту чешую?.. Н-да, она крупная. Щучья. Почему она проколота? Ну, нельзя же быть настолько любопытными — дневник всё-таки, личное, знаете ли, дело...

Ладно, не буду томить. У этой чешуи — своя история.

Чешуйка с дырой — моя двойка, даже «кол», если на то пошло.

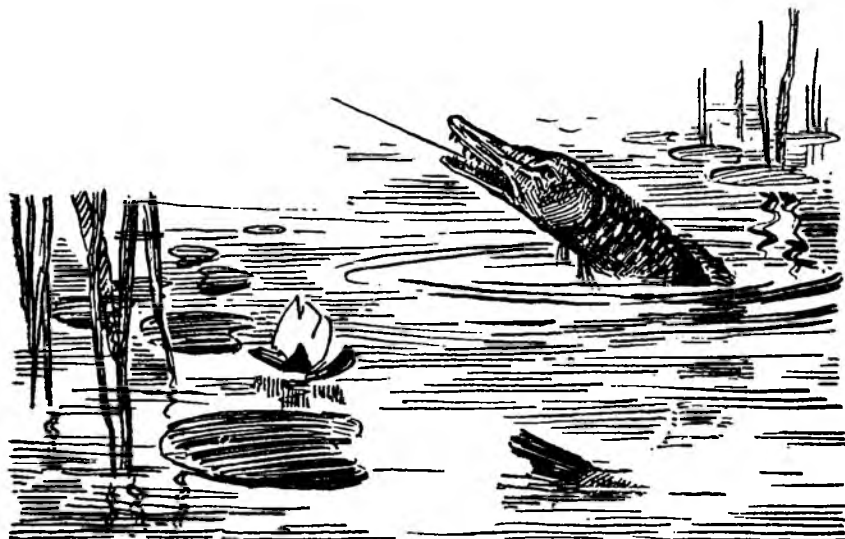
...Её увидел Гога.

— Щ-щука! — заикаясь от волнения, прошептал он, указывая на мелководье у берега. — Крокодил! Честная правда!

Рыба темнела у берега — бревно бревном. Страшилище!

— Давай щучью удочку. Живо! — приказал я Гоге.

Едва тень удилища упала на воду, вскипел крутой бурун. И лишь облако поднятой со дна му-



ти расплылось на месте, где стояло озёрное чудовище.

— Она греться на солнце выходила, — прервал Гога молчание. — Да?

Мы поклялись поймать щуку. У меня отпуск, Гошка, мой юный спутник, на каникулах — времени впереди достаточно.

Мозоли на руках от вёсел, пальцы, израненные крючками, лица, опухшие после вечерних налётов мошкары, — свидетели, что мы держали слово. Мы не жалели себя, загорели, как негры в Африке, и — счастье улыбнулось нам.

Будто сейчас вижу согнутое в дугу удилище жерлицы. Натянутый шнур то хлестал по воде, то срезал стебли кувшинок, топил их, и в омуте ворочалось что-то огромное, чему и названья не найти. Гошка побледнел; наверно, и на мне лица не было.

Взяла!..

Во весь дух мы подплыли к жерлице, вёсла гнулись в руках. Взяла!.. И тут в решительный миг я погорячился, за что казнюсь до сих пор. Мне бы поводить щуку, измотать её, а я с силой подсёк и стал выбирать шнур.

Щука всплыла у лодки. Плоская голова, жёсткое перо спинного плавника, бычьи, тускло мерцающие глаза... Я невольно ахнул и рыбачьим багориком поддел щуку, чтобы рывком забросить её в лодку. Багорик скользнул, как по стеклу, и я, не успев даже сообразить, что же произошло, полетел навзничь. Гошка, стоявший в корме, свалился за борт.

Дёрнув, щука оборвала стальной поводок и ушла...

Багорик мы выловили. У него бамбуковая ру-

коять, он не потонул. На острие багорика прочно засела щучья чешуйка.

Я снял её.

Она в моём дневнике.

И вам, друзья, не завести ли подобные дневники? А, рыбачки?..





КОЛПАЧИЛИ!



ТА ворона — ворюга и бандитка — отравляла мне жизнь. Из-за неё доставалось от ребят: «Охотник! Ружьё есть, а с вороной не справится!»

Днями я дежурил на колхозном птичнике и, пропуская часы зоревоего клёва, утром и вечером гонялся за разбойницей, выслеживал её в лесу. Я загубил ворон до десятка, но ту самую, что повадилась таскать цыплят, перехитрить не мог. Ворона эта не была «вороной»! Будто чуя, кто на птичнике, она садилась поодаль на сухую осину,

а когда я, потеряв терпение, покидал шалаш, где её подкарауливал, она вежливо кланялась издали, как старому знакомому: «Кар-р!» Голенастая, растрёпанная ворона — и перед ней я бессилен...

Я слышал о проделках ворон, воровавших цыплят и корм на птичниках. Они были кроткие ангелы в сравнении с нашей. Они пропадали ни за грош, их обвести вокруг пальца ничего не стоило. Не подпускают к себе охотника, так что из этого? Переоделся в платье птичницы — вороны, будь покоем, не разберут маскарада, подлетят близёхонько, сыпь по ним дробью из обоих стволов!.. Так я поступить не мог. Мне не подошли бы халаты птичниц. Напялив их, я выглядел бы чучелом, чтобы пугать тех же ворон. Всё в том, что на нашем птичнике работали одни школьники.

Инкубаторских цыплят в колхозе получили в разгар сенокоса. Свободных рук не было. Тогда Светланка с подругами и взялись за шефство, и постепенно всё на птичнике перешло к ним.

Я снимал горницу у родителей Светланы и помню, как Света с гордостью мне сообщала:

— У одного цыплёночка — самого шустрого, который первый бежит к творогу... Ты его всё равно не знаешь! У него гребешок оказался.

И вот что ни день, пропадают цыплята — с гребешками, без гребешков.

И Света в слезах; и мне каково слышать вслед, когда я возвращаюсь задворками с птичника:

— Мне бы рузье, я бы ка-ак мякнул по вороне — перё бы посыпалось, как из подуски!

О моём поединке с вороной знали в деревне. Я терял авторитет даже у самых маленьких своих приятелей. И я придумал страшную месть...

Льняное масло нашлось у Светиной мамы, ка-нифоль удалось добыть в колхозном клубе. Три часа кипятилась пахучая смесь на сковородке над костром, фырча и брызгая на уголья. Клейкое вы-шло варево — я с трудом отодрал пальцы от горя-чей сковороды, снимая её с огня! Я наделал «фун-тиков» — формой точно таких, в какие отпускают конфеты в магазине, но размером поменьше.

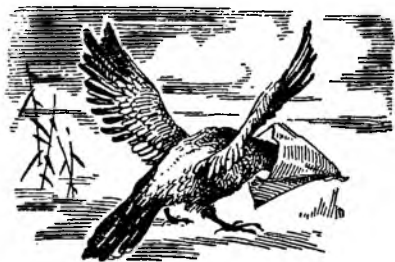
Наутро, чуть свет, я был во дворе птичника. Выкопать в земле ямки, замаскировать в них бу-мажные кульки, изнутри смазанные клеем, поло-жить в них колбасы для приманки — это не заня-ло и пяти минут.

Я залёг в шалаше. Светало медленно, я ждал, ждал прилёта вороны и задремал. Разбудили ме-ня ликующие вопли девочек, стайкой прибежав-ших на птичник: «Околпачили! Околпачили!..»

По двору, распустив крылья, с головой, засуну-той в кулёк, прыгала ворона. Та самая... Полезла в ямку за колбаской — и попалась.

Тут ей и пришёл конец.

Мы подвесили ворону над птичником на высо-кий шест. В назидание всем разбойникам на свете: лучше не суйтесь к нам, плохо будет!





ТОТ год необычно жаркое стояло лето. Обмелела Сухона. Движение пароходов от Тотьмы до Устюга прекратилось. Как нам, брату Саше и мне, было добраться до Архангельска из лесной вологодской деревушки? Приехали мы сюда на летние каникулы и застряли. Нам в школу пора!

— Так что, головы садовые, — говорил нам как-то дед вечером, — придётся вам до Устюга плыть на плоту. Дорога оттуда открыта: садись на пароход и валяй куда надо.

Бабушка заохала. Шутка ли — сто шестьдесят вёрст на плотике, по перекатам, да в сушь такую... Ребятишкам-то!

— Не каркай, не одни будут, — осадил её дед и продолжал, прощупывая нас цепким хмурым взглядом: — Ничего, сладите! Ставлю вас под начало Клеменюхи. Из Коробицына он, с Городищны. Дочь ему в город надо, докторам показать. Нема она... Ровесница вам, — поди, годков одиннадцати. Клеменюха — мужик бывалый, солдат, в германскую воевал. Нахвалил я вас — не подкачайте, не позорьте наш корень!

...И вот нас несёт Сухона.

Грузные смолистые брёвна плота крепко-накрепко связаны гибкими берёзовыми ветвями. Два тяжёлых весла опущены с кормы и носа в воду — это, чтобы управлять плотом на перекатах, где Сухона кипит и плещет у гранитных глыб, в каменных теснищах берегов. К брёвнам прибит лист железа. На нём мы раскладываем костёр, кипятим чай и варим кулеш — кашу из крупы, лука и сушёного мяса. Есть и каюта «первого класса» — шалаш, набитый сеном и крытый еловым корьём.

Сухона — крутые берега в оползнях и буераках, крик чаек, запах спелых хлебов и сена, избы, рассыпанные по угорам... Берега, берега! Они полосатые — красные и розовые глины чередуются с пластами серых известняков, жёлтыми лентами алебаstra. Переливается в воде отражение меловых круч, будто бьёт вдоль берега струя молока... Не наскучит, бывало, смотреть на эти берега, видеть, как хвойная рать борется с вязкой глиной и жёлтым песком осыпей. Тонкие ели, искривлённые ветрами сосны басстрашно лепятся по отвесным



склонам. Вон их смыло с комом земли в воду. И там не сдаются, растут! Вот — сосны одержали победу. И как хорош берег в густой пушистой зелени!..

Но сожмут реку утёсы, и она неистовствует, словно хочет выплеснуться из каменистого ложа. Как лбы подводных чудищ, блестят валуны, омываемые стремительным течением. Налетит наш плотик на камни — беды не миновать.

— К вёслам! — командует Клеменюха. В шуме воды тонет его зычный крик. Оскалив зубы, смуглый, с лохматой бородой, Клеменюха грудью наваливается на кормовое весло, отчаянно сверкают белки его пронзительных глаз.

Ухватившись за рукоять другого весла, мы с Сашей повисаем на нём, перебарывая ярый напор реки. Плот не слушается рулей. Он то окунается в воду, то дыбится на буграх волн.

— Гребите-и! — орёт Клеменюха. — Ударяй слева! Во-о... А ну справа отбейте. Т-так!.. Эх, весёлое житьё!

Весло царапает по дну, вырывается из рук, но мы гребём, и рубашки прилипают к потным спинам, колотит в виски кровь. Подбадривая друг друга, мы что-то кричим оглушительно громко и задорно.

Пережат позади, утихомирилось течение.

— Ничего, мужики! — подмигивает нам Клеменюха, расправляет покатые плечи, трёт ладонью широкую, заросшую курчавым волосом грудь. — Совладаем, мужики!

Наш кормщик готов ещё померяться силами с сухонскими перекатами. Он пригоршнями черпает воду, пьёт и брызгает в разгорячённое лицо:

— Га-а... Вкусна водичка! Ах-ты-и... вкусна!
Река пронизана солнцем. И будто она течёт не мимо берегов, а в меня, во всех, кто на плоту.

Пока мы плывём, я постоянно нахожусь в счастливо возбуждённом состоянии, когда всё представляется достижимым. Вот вбери в грудь сладкого воздуха речного раздолья, распахни руки крыльями — ведь полетишь!.. Только вдохни поглубже, чтобы сердцу стало тесно, чтобы голову закружило, и — будешь лёгким, почти невесомым. И увидишь весь свет с высоты полёта... А дала эту лёгкость, силу для полёта Сухона-река!

Песчаный островок. Вышагивают журавли. Старый держится строго. Молодой, стремясь перенять степенные движения наставника, часто сбивается. Он машет крыльями, трубит, и старый журавль сердито трещит на него.

— Ефрейтор долговязый! — сплёвывает Клеменюха. — Муштрует, что для смотра.

Сцепив ладони на колене, он смотрит на журавлей исподлобья.

— Э-эх! Доставалось солдатне перед смотром. Мордовали нашего брата, есть что вспомнить. А раз собрали на плацу, объявили: белый русский царь войной идёт на царя германского. Мол, тот задрал, нам сдачи ему давать. Ура, с богом, ребята!.. Четыре года гнили в окопах, вшей кормили. А мне больше других досталось горячего — до слёз. Мало царю показалось, что мы на своей земле терпим, угнал во Францию. Особый корпус, тысячи людей... Не забуду, как везли в ту Францию. Солдатня песней горе глушила:

Как в синем море корабель плывёт.
Корабель плывёт, аж волна ревёт... —

хриплым тенорком затянул Клеменюха, покачиваясь из стороны в сторону и закрыв глаза.

Ой, да как на том корабле три полка солдат.

Три полка солдат, молодых ребят,

Генерал-майор...

Ой, да генерал-майор богу молится,

Рядовой солдат домой просится...

— Под городом Реймсом я кровь пролил. В госпиталь повалили: лечи свои раны, солдат. Поправишься, опять винтовку дадим. Там, в госпитале, я узнал, что в России власти перемена. Потом слышим: Ленин. Ленин, революция. Соседом в палате был у меня Михаил Авилов, донской казак, лихой рубака и человек честный, прямой. Ночи напролёт мы с ним толковали: он о Доне, я о Сухоне. Маялся, тосковал он на чужбине, оттого и рана не заживала. «До дому, — говорит, — надо. Ленин мир всем державам предлагает. Не станут домой пускать, бунт подниму!» На чужой стороне худо бунтовать: посадили казака в крепость. Судили и в Африку сослали, в пекло, в пустыню. Лучше б расстреляли его, всё б не мучился. Может, он по сей день там бедует?..

Река спокойна и величава. Мы жмёмся к берегу, плывём подальше от фарватера.

Пароходы — гуще и гуще. Они ведут пузатые баржи, плоты леса. Гулко ударяя по воде плечами колёс, они требовательно гудят: «с дороги-и-и!»

Устюг близок.

Нам жаль расставаться с Сухоней.

Я слышу, как в шалаше вздыхает немая девочка. Она шевелит губами, и мучительно сжаты её тонкие брови. Ей что-то обязательно нужно сказать...

Вечереет. На небо высыпают звёзды. Речные плёсы в золочёных веснушках. Далеко от нас горит на берегу костёр, стелет по воде зыбучую дорожку. Она едва не достигает плота. Но сколько мы ни плывём, она лишь укорачивается, по-прежнему манящая и близкая...

Спустя полчаса мы высаживаемся у рыбацкого костра. Закипая, клоочет вода в чайнике. Роем носятся над костром искры.

Я неотрывно смотрю на маслянистое отражение пламени костра в воде, голова моя тяжелеет, и я незаметно засыпаю.

И это уже не пятно пламени дрожит в речных струях, это плещется Золотая Рыбка. Спрашивает меня Золотая Рыбка:

— Говори, что тебе надобно? Всё исполню, что ни прикажешь.

Огнём сияют плавники и частая чешуя.

Я сквозь сон шепчу:

— Ничего мне от тебя не надо, Золотая Рыбка, когда есть на свете Сухона-река!



ОГЛАВЛЕНИЕ

Белка-Черномор	3
Валенки	5
Желтые подошвы	7
Налимья проверка	10
Снежные фонтаны	12
Таежный хирург	15
Болтуны	19
Наша ель	23
По следу	29
Рядом с нами	32
Сорочья почта	35
Медвежья мерка	39
Штукатур	41
Водопой	44
Без парашюта	46
Удивительный дневник	48
«Околпачили!»	54
«Сухона-река	57

70 коп.

С 1. I. 1961 г. — 7 коп.

